

— Я уехала из этого города двадцать лет назад...

Я достаточно молода, чтобы нравиться двадцатилетним щенкам, и достаточно стара, чтобы рассчитывать на понимание, лениво бросая подобное бармену.

— Не может быть!

Он вскидывает лохматую гриву. Его взгляд становится внимательным. Если не сказать — пристальным. Но ещё не профессиональным. Он — двадцатилетний глупый щенок. Посмотри, мальчик, особенно внимательно. Посмотри несказанно пристально. Это так важно для человека — умение смотреть. А уж в твоей профессии...

— Вас увезли отсюда ребёнком? — отвечает комплимент, немного кокетничая. Часть ремесла. Но не такая важная, как наблюдательность.

— Нет. Я уехала из этого города двадцать лет назад. Мне было двадцать четыре года. Ты бармен. Ты умеешь считать.

Наклоняется ко мне через стойку, интимно шепчет:

— Иногда я недоливаю.

Ничем не рискует. Умный мальчик. Немного манерный и слишком уверенный в своей неотразимости.

Прикасаюсь к его почти девическому запястью:

— Смотри внимательно. До полудня ещё час, и весна в этом городе так же щедро на солнечный свет, как владелец твоего заведения — на открытые пространства. Я очень молода вечером

в искусственном свете. Я откровенно юна на танцполе и становлюсь совсем девочкой в постели. Но здесь и сейчас, на верхней палубе этого ресторана, смотри внимательнее мне в глаза.

— Морщинки, да?

Он всё ещё немного кокетничает. «Морщинки, да?» Заговорщически так.

— Нет. Хотя и они. Но ты неглуп, потому тебе я скажу: смотри не на морщинки вокруг глаз. Не на губы, не на лоб и не на что другое. Хочешь узнать, сколько женщине лет, — смотри ей в глаза.

— И?.. — несмело. Но ещё не отстраняясь. Заинтригован. А может, они все поехавшие на тренингах.

— Разве бывают такие глаза у твоих ровесниц?

— Такие голубые? Такие красивые?

— Перестань!

— Опытные?

— Не совсем... Как тебя зовут?

— Артём.

— Наблюдай за собаками, Артём. Смотри в глаза щенкам и взрослым псам. И тебе станет ясно про женщин. Кстати, по глазам можно вычислить не только возраст, но и...

— Счастье?

— Точно.

Точно умный мальчик.

— Счастье молодит.

Отстраняется.

Очень умный мальчик.

— Да. Но я сегодня здесь ностальгирую, так что налей мне семь по пятьдесят текилы.

— Но это же триста пятьдесят!

— Артём, никогда не говори женщине, сколько ей пить, если только это не твоя женщина. К тому же ты можешь недолить — и на круг выйдет триста.

— Верно!

Смеётся.

Если его густую гриву привести в порядок обычной короткой мужской стрижкой, он будет не только умный мальчик, но ещё и красивый мальчик. Ну да дело его.

Пока он делает своё дело, я закуриваю.

Я достаточно молода, чтобы нравиться двадцатилетним щенкам, и достаточно стара, чтобы рассчитывать на понимание, лениво бросая бармену в пустом зале: «Я уехала из этого города двадцать лет назад...»

\* \* \*

Было так же солнечно. Сентябрь в этом городе так же щедр на свет, как и апрель.

Перед тем как уехать, я много ходила пешком. Я любила и люблю ходить пешком. Но тогда я ходила пешком не из любви. Я ходила пешком, чтобы выходить решение. Вру. Неэлегантно и неуместно обманываю. Я ходила пешком, чтобы выходить себя до конца. Сойти на нет. Стесать под ноль. Весь июль, весь август и почти весь сентябрь я ходила пешком.

Августовский ливень. Я бреду, почти обессилен. Я прошла по жаре от центра города до четыреста одиннадцатой батареи. Опустила раскалённые ходьбой ступни в воду. Маленький пляж. Каменистый, неудобный. Приезжие его не знают. У жителей города — дела. Да небо грозное. Сегодня я говорила с папой. Он сказал мне:

— Да я что? Я ничего. Вот мама...

Двадцать лет назад и все двадцать лет перед теми, что двадцать лет назад:

— Вот мама...

Чудесное слово «папа». Гораздо лучше жёсткого, колючего «отец». «Папа» — это домашнее. Как любимая пижама. Как покой. Как чашка горячего чаю с лимоном после ванны, которая после ледяного косо́го ливня. «Папа!» — и тебя уже ничего не тревожит. «Папа!» —

и тебе уже ничего не надо решать — всё решат за тебя. Каждой девочке нужен папа. Папа. А не слово.

Августовский ливень. Улицы пусты. В этом городе они пустеют моментально. Ни в одном городе мира улицы так не пустеют во время ливня, как пустеют здесь. Я бреду в гордом одиночестве, почти обессилен. Босиком шлёпаю по лужам, не обращая внимания ни на льющиеся сверху прозрачные холодные струи, ни на грязные фонтаны, вырывающиеся из-под колёс проезжающих машин. Всё, что сверху, — прозрачно. Всё, что снизу, — грязь. Мне холодно, но всё равно. Я насквозь промокла, но мне всё равно. Мне настолько всё равно, что я всё пропускаю сквозь. Сквозь себя. Холод, ветер, грязь. Можно было бы назвать это «просветлением». Если бы я шла сквозь, как дождь. Шла, а не пропускала сквозь себя. Но я иду внизу всего лишь сквозь пространство улицы, а вовсе не с небес на землю, чтобы воспарить с земли на небеса. Я просто бреду по лужам. Тогда это «затемнение»? Равно ли просветление затемнению? Я иду, и в голове крутится глупая мысль о равенности светлого и тёмного. Услужливый неугомонный ум плетёт хитроумное макраме, надёжно занавешивая плотным узловатым полотнищем дыру в душе. Окажись я сейчас — мокрая и босиком — в Антарктиде, а не в моём южном августовском городе, я брела бы точно так же, ничего не замечая, пока бы не превратилась в ледяную скульптуру. «Море волнуется раз... Два... Три. Ледяная фигура, замри!» Просветления и затемнения не отменяют физику тела. И море никогда не волнуется...

— Девушка! Девушка!

Машина медленно катится рядом. Уже, кажется, некоторое время. Водитель, наверное, успел подумать, что я глухая. Потому что отчаянно жестикулирует. Впрочем, в моём городе принято отчаянно жестикулировать по любому поводу, а не только при встрече с глухими девушками. Или просветлённо-затемнёнными.

— Девушка! Давайте я вас подвезу!

Красивый мужчина. Мой любимый цвет. Мой любимый размер. Красивая дорогая машина. Разве со мной может быть иначе? Мне двадцать четыре, и лет с шестнадцати я нравлюсь взрослым состоятельным дядям, и фасоном они схожи, будто их кроили по одному лекалу. Вот и этот такой же. Коротко стриженные густые тёмно-русые волосы. Мускулистый, массивный. Тяжёлый взгляд. «Девушка! Давайте я вас подвезу!» А как же, конечно. Дальнейший сценарий известен до скрежета зубовного.

Бреду, не обращая внимания.

— Девушка, я вас просто подвезу. Просто! Подвезу! — властно акцентирует последние два слова. — Я не знаю, что там у вас случилось, но я не могу видеть, как молоденькая девушка нарывается на воспаление лёгких. Садитесь немедленно!

— Я мокрая и грязная.

— Садитесь!

Сажусь.

— Куда вам?

— В центр.

На панели фотография. Юная тощая блондинка, похожая на меня. Все юные тощие блондинки похожи друг на друга. Вкусы мускулистых, массивных, коротко стриженных густоволосых тёмно-русых мужиков на дорогих тачках не отличаются разнообразием.

Улавливает направление моего взгляда.

— Это моя дочь. Ей двадцать четыре. В Москве училась, да так там и осталась. Я увидел вас и подумал: вдруг она бредёт по московским улицам в такой же ливень, ей грустно и холодно. И кому нужен этот мир, если он состоит только из самцов? Они же почему самцы? То есть мы. Мы самцы лишь для того, чтобы стать отцами. Папами. Слово «папа» мне нравится куда больше слова «отец». «Отец» —

это что-то пафосное, протокольное. Папа. Исключительно «папа». Когда она звонит и я слышу: «Папа, привет!» — я счастлив.

До центра города мы молчим. Он даже не спрашивает, как меня зовут. Он меня просто подвёз. Наконец-то мускулистый, массивный, коротко стриженный густоволосый тёмно-русый мужик меня просто подвёз. Просто! Подвёз!

Ливень закончился, и вышло яростное солнце, к закату ставшее нежным.

Двадцать лет назад я выходила себя на нет и уехала из этого города.

\* \* \*

— Видите тёток в углу? — наклоняясь ко мне, шепчет Артём, ещё не подозревающий, как бы он был хорош, подстригись он по-мужски и займись гантелями. Мы с ним уже немного заговорщички в этот апрельский полдень.

— Да. Теперь вижу.

Я так погрузилась в воспоминания, что не заметила, как пришли эти женщины. Хотя в пустом баре пустого полуденного ресторана сложно не заметить посетителей.

— Эти «тётки» — мои ровесницы! — теперь и я немного кокетничаю. И у меня — двадцать лет спустя! — мелькает мысль о том, что даже как-то обидно, что тот мужик так и не предложил ничего, кроме как просто подвезти. Сила привычки. Тётки такие тётки. Двадцать лет назад, предложи он мне что-то кроме просто подвезти, — и моя жизнь пошла бы совсем по другим рельсам. Скорее всего, под откос. И тогда я это понимала. А сейчас такой вот моментальной строкой из ежедневника: «Не предложил!» Спасибо тебе, чей-то папа. Спасибо, что увидел в очередной юной тощей блондинке не кусок плоти, а дочь. Прости за дурацкие мысли. Это женское. Вечно женское. Вот зачем я кокетничаю с барменом? Просто дурачусь. Я ушла из «большого секса» ровно тогда, когда меня просто подвезли.

— Да-да, простите. Но я не о том, что они тётки. Пусть будут женщины. Я о другом. Они собираются раз в месяц. Двенадцать раз в год. Причём всегда днём. Выпивают, плачут, смеются. Сидят долго. Расплачивается за всех всегда та — дороже всех одетая стройная блондинка с конским хвостом, голубыми глазами и рыжими веснушками. Они прикольные. Иногда я о них думаю. Придумываю. А «тётки» — это просто такое слово, не обижайтесь! — он улыбается. Честно и открыто. Без мужского, без женского, без кокетства. Умный мальчик заинтригован собирающимися раз в месяц «на троих» выпить, поплакать и посмеяться «тётками». А «прикольные» — это для него что-то типа *cool*. Это возрастное. Это пройдёт.

— И что ты о них думаешь?

— Ну, вот та, лучше всех одетая, что расплачивается за всех, явно была дочь богатых родителей, всё и всегда у неё по жизни было в шоколаде. Возможно, её отец был шишкой в городской управе или в чезмпэ<sup>1</sup>. Мама — на вечном приколе в роскошной квартире ведомственного дома. Престижный вуз — типа романо-германского факультета университета. Вероятно, она вышла замуж за мажора и вскоре с ним развелась. У неё есть ребёнок. Или она до сих пор замужем, но муж изменяет ей, а она — ему. Ребёнок ходит в английскую школу, и «Конский Хвост» не знает, куда девать деньги.

— Да ты просто детектив, Артём! — смеюсь. — Дома на полке тридцать томов Чейза, зачитанные до дыр?

— Думаете, не прав? — надувает губы Артём.

\* \* \*

Лучше всех в классе одета блондинка с конским хвостом, голубыми глазами и рыжими веснушкам. Непонятно, откуда у неё такие тряпки, такие пеналы-ручки-резинки, — у Наташки всё самое лучшее и всё самое-самое заграничное. Куда лучше и заграничнее, чем у Вики. Хотя Викин папа «плавает» помполитом, а у Наташки

<sup>1</sup> ЧМП — Черноморское морское пароходство.

папа — водитель автобуса. А мама — парикмахер. Очень хороший парикмахер. К Наташкиной маме запись — на месяц вперёд. Это в парикмахерской. А на дому — на год вперёд. Она работает не покладая рук: над гривами жён плавсостава, над волосиками секретарш обкома, над халами спекулянтов, над осветлёнными завивками завмагов, завскладов и над перманентом заведующей районо. Руки Наташкиной мамы имеют странный, пожёванно-пятнистый вид. Иногда они начинают шелушиться, и это называется «экзема». Но она и тогда не перестаёт работать, просто надевает перчатки. Однажды под Новый год она закончила работу в половине двенадцатого ночи, села на стул и уснула. Наташка подошла к ней, села у ног, обняла мамины варикозные ноги и тоже уснула. Папа Коля с ними не спал, потому что автобусы отправляются по расписанию с автовокзала даже в новогоднюю ночь. А Наташкина бабушка всё наготовила и улеглась ещё в десять вечера.

Наташка добрая. Хотя и глуповатая. Она не умеет читать и писать, хотя к первому классу это, как правило, умеют все. Но Наташку не переводят во вспомогательную школу. Потому что заведующая районо может причесаться «на Восьмое марта» утром восьмого марта. Причём у себя на дому. У Наташкиной мамы есть «запорожец», и к особо важным клиентам она приезжает на дом. Пока Наташка учится в школе, заведующая районо для мамы-парикмахерши — особо важный клиент.

Наташку нельзя, конечно, назвать умственно отсталой. Но она сильно отстала в развитии. Вероятно, из-за чрезмерной опеки. Мама безумно любит Наташку, но всегда занята. Наташкин папа, когда не за рулём автобуса, то пьёт пиво с водкой или лежит под «запорожцем». Потому основное время с Наташкой проводит её бабушка. Крохотная сухонькая старушка. Наташка в свои семь лет больше бабушки почти в два раза. В смысле — толще. Наташку не только прекрасно одевают, но и кормят на убой. Самая первая, безумно дорогая клубника — Наташке. Молодая картошка с лучшим сливочным маслом и свежайшим укропом — Наташке. Карбонад, или,

как говорят в этом южном приморском городе, «копчёное мясо», — Наташке. И всё это не тарелочками или мисками, а тазами, корытами и вёдрами. Наташка уже не может есть меньше. Она похожа на откормленного юного декоративного поросёнка. Вернее, на свинку, потому что поросята всё-таки малы в размерах.

Каждое утро крохотная сухонькая старушка несётся на Привоз в шесть утра и покупает самую лучшую брынзу, самые свежие яйца и самые жирные молоко, творог и сметану на выданные мамой-парикмахером деньги. Чтобы завтрак для Наташки в семь был на столе. Наташка просыпается. Крохотная сухонькая старушка умывает её, одевает её и говорит ей «пис-пис-пис!» — хотя Наташке уже семь лет. И промокает её после «пис-пис-пис!» специальной Наташкиной промокательной тряпочкой, висящей тут же, на двери туалета — маленькой кабинки, встроенной в малюсенькую кухоньку квартирki-курятника, коих во множестве в этом южном приморском городе.

Это такая квартирка, в которую можно попасть, пройдя лестницу и веранду. И ещё лестницу и веранду. И ещё одну лестницу и ещё одну веранду. И там, в тамбуре, направо — дверь, ведущая в квартиру Наташкиного семейства. Дверь никогда не закрывается на замок, потому что бабушка всегда дома, когда дома больше никого нет. Бабушка боится одиночества. И ещё потому, что рыбу она чистит на веранде, а держа полный таз начищенной свежей рыбы двумя руками, сложно войти в закрытую дверь. Только в открытую.

За всегда открытой дверью — сразу та самая малюсенькая кухонька. Прямо — пенал упирается в окошечко, выходящее на глухую стену соседнего дома. Слева в пенале стоит стол. За столом — плита на две конфорки. Как Наташкина бабушка успевает столько всего готовить? Справа страшный горбатый холодильник с ручкой-рычагом. И вот сразу за холодильником пристроен туалет. Взрослый крупный человек там помещается с трудом, и потому и Наташкина мама, и Наташкин папа не закрывают дверь. Пока они, сидя на унитазе, курят сигареты и читают газеты, Наташкина бабушка жарит

рыбу — правый глаз прищурен, в зубах папироса. Колени Наташкиных папы и мамы упираются в сухонький плоский задик старушки. Иногда Наташкина бабушка от этого морщится, потому что на сухоньком плоском задике у неё шрам.

Наташкина бабушка вся в шрамах. Есть шрамы от осколочных ранений. Есть от пулевых. А одно даже ножевое. Точнее — штыковое. В общем, такое, что оставляет на память о себе штык-нож. А ещё Наташкина бабушка плохо слышит. Контузия. Наташкина бабушка иногда шутит, что контузия — это когда ты вдруг взлетаешь и летишь-летишь, как Икар. Но скоро немножечко падаешь, и из ушей у тебя льётся кровь. Потому что за удовольствие летать ты расплачиваешься лопнувшими барабанными перепонками. Она очень весёлая, Наташкина бабушка. Когда у неё не болят шрамы — она очень весёлая. А когда болят — она курит «Беломор». Одну папиросу за другой. Или даже так: одну от другой. Но и тогда, когда она весёлая, и тогда, когда она курит одну от другой, что бывает достаточно часто, — она всё время на ногах и что-то делает. Никто и никогда не видел, чтобы Наташкина бабушка лежала. И никто и никогда не слышал, чтобы Наташкина бабушка ныла и жаловалась.

Девятого мая Наташкина бабушка всегда бывала весёлая, даже если шрамы очень болели. Девятого мая она надевала крохотный кукольный костюмчик отличной шерсти, раздобытый для неё дочкой-парикмахершей. На пиджак кукольного костюмчика были навсегда прикручены орденские планки, медали, ордена и много всяких ярких значков, всегда интересных детям. Весь этот «иконостас», как называла его Наташкина бабушка, был ей, крохотной сухонькой старушке, чуть не по колено. Но она надевала его каждое Девятое мая, брала Наташку за пухлую ручку и шла с ней на Куликово поле смотреть Парад. Потом они возвращались домой, где дочерью-парикмахершей уже был накрыт богатый стол. У дочери-парикмахерши был один нерабочий день в году — Девятое мая. Старушка, парикмахерша, водитель автобуса и Наташка садились за стол. И бабушка напивалась. Бабушка напивалась один-единственный

день в году — Девятого мая. И хотя она была крохотной сухонькой старушкой, для того чтобы напиться, ей надо было выпить куда больше, чем водителю автобуса или парикмахерше. Парикмахерша косела от трёх крохотных рюмок. Водитель автобуса — от трёх стограммовых стопок. Наташкиной же бабушке, чтобы напиться один-единственный раз в году — Девятого мая, — надо было выпить поллитру «в одно лицо», как она сама выражалась. Выпивая, она сперва поминала многие имена — Наташка их не запоминала. Затем бабушка пела. А потом плакала. Когда все укладывались спать в одной-единственной комнате квартирки, попасть куда можно было, лишь пройдя три лестницы и три веранды, Наташкина бабушка трезвела, снимала кукольный костюмчик отличной шерсти, вешала его в шкаф, убирала со стола, аккуратно складывала оставшуюся от пира снедь по мисочкам с крышечками и ставила в холодильник. Затем мыла посуду и стирала скатерть.

Наташкина бабушка была командиром разведроты и прошла всю войну. До самого Берлина. Конечно, она не сразу была командиром разведроты. Она закончила разведшколу. Потом оказалась самой умной, самой хитрой и самой живучей. О последнем она в основном и плакала каждое Девятое мая. Уже много-много лет Наташкина бабушка хотела отравиться, но её сдерживала безумная любовь к дочери-парикмахерше и толстой красивой внучке Наташке, натуральной блондинке с конским хвостом толщиной в руку, яркими голубыми глазами и рыжими веснушками. Глупой и доброй. Так похожей на своего деда, которого она никогда не видела, потому что его убили на войне. Внучку она любила больше дочки. Потому что Наташка выросла у неё на руках. Вырастить на руках парикмахершу Наташкиной бабушке помешала война и работа. Наташка, в отличие от мамы-парикмахерши, никогда не была ни в яслях, ни в детском саду. Только дома. Только с бабушкой. На бабушкиных руках.

А ещё от самоубийства бабушку сдерживала сезонная терапия на Слободке. После первой неудачной суицидальной попытки бабушка-разведчица сама нашла психиатрическую больницу и попросила